

тивная частица *-от*, типично северновеликорусская, не привилась в московском говоре (карта 182).

На подготовку «Атласа» ушло 7 лет, для его выхода в свет оказалось нужным почти еще столько же, и когда может выйти весь «Атлас» — трудно сказать. Техника издания очень сложна, и потому на периферии томы «Атласа» издаваться не могут. Надо надеяться все же, что, несмотря на все трудности, издание «Атласа» будет доведено до конца.

Обратимся теперь к некоторым критическим замечаниям. «Атлас» составлен с большим размахом. В этом отношении отдельные карты, свидетельствующие об одинаковом явлении, но иллюстрированные различным словесным материалом, могли быть поданы в более компактном виде, будучи сведены к меньшему числу карт. Ср., например, ряд карт о стяжении гласных, о произношении *чи*, о глаголах типа *садить*, *платить* и т. д., об отдельных морфологических явлениях, таких, как твор. падеж ед. числа *ночью* (карта 99; ср. *палкуй*, карта 96), дат. и предл. падеж ед. числа *грязе* (карты 98 и 100) и т. д.

В некоторых случаях карты в собственном смысле излишни: например, переход конечного *г* в *к* или *х* (карта 39). Нужно ли давать слово *калякать* (карта 237)? То же самое касается и слова *медведь* (карта 226): ведь чисто фонетически это слово повсюду могло измениться в *ведмедь*; или *кукушка* (карта 229), которое ассимиляционным процессом везде могло приводить к *кукушка*. Излишне и слово *сѣндук*, при котором дается *сѣндук*: это слово заимствованное (ср. араб. *сандиқ*), поэтому оно могло получить понаслышке второй вариант. О северновеликорусском слове *жеръ* (карта 239), как и глаголах, связанных с процессом дергания льна (карта 240), нужны сельскохозяйственные сведения (где сеется самый лен).

В приложении к картам дана диалектологическая библиография. Хорошо было бы в издании «Атласа» отразить в той или другой форме итоги предшествующей разработки русской диалектологии, в области которой сделано было немало. Такое добавление повысило бы удельный вес «Атласа». Тогда и помещение диалектологической библиографии полностью бы себя оправдало.

В заключение мелкие замечания. Почему на карте 165 приведена форма страдательного причастия прошедшего времени *выданъ*? Эта форма, как и аналогичные образования от других глаголов, имеет повсеместное распространение (более редкое в северновеликорусском). Читатель может подумать, что диалектная форма этого типа свойственна лишь сложению данного глагола с префиксом *вы-*.

На карте 190 приводится (от автора) слово в форме *крынка*. Это областная, не литературная форма слова. Даже Даль дает слово в форме *крынка*. У Ушакова в словаре оба варианта. Поэтому оба варианта, не мудрствуя лукаво, дают и в «Орфографическом словаре русского языка» изда-

ния 1956 г. Но большой академический словарь, считаясь с показаниями писателей, правильно приводит слово в одной форме: *крынка*.

Приведу также замеченные опечатки. На карте 4-й (внизу, в пояснениях, строка 2): *оканье* — надо *аканье*; на карте 100-й (внизу, в пояснениях): *к грязе* — надо *в грязе*.

Следует пожелать скорейшего выхода из печати «Атласа русских народных говоров центральных областей к западу от Москвы» и других частей этой работы большого научного и культурного значения.

С. П. Обнорский

«Труды Института языкознания» [АН СССР]. Т. VIII. — М., Изд-во АН СССР, 1957. 517 стр.

Восьмой том «Трудов», посвященный всецело вопросам древнерусского языка, распадается на два отдела. Первый составляют исследования памятников древней Руси со стороны их палеографии, орфографии и фонетики: Л. П. Жуковская, Из истории языка северо-восточной Руси в середине XIV в. (Фонетика галичского говора по материалам Галичского евангелия 1357 г.); О. А. Князевская, К истории русского языка в северо-восточной Руси в середине XIV в. (Палеографическое и фонетическое описание рукописи Московского евангелия 1358 г.) и Т. Н. Кандаурова, К истории древнерусского диалекта XIV в. (О языке Псковского пролога 1383 г.). В состав второго отдела входят статьи, посвященные синтаксису и морфологии древнерусского языка: В. И. Боровский, Бессюжные сложные предложения в древнерусских грамотах; С. В. Бромлей, К истории образования форм сравнительной степени в русском языке (История взаимодействия двух типов образования форм сравнительной степени: с суффиксом **-ъьс-* и с суффиксом **-ѣьс-*) и Н. С. Рыжков, Морфология и семантика именных (отсутствующих) наречий в древнерусских памятниках XI—XIV вв.

Ближние по тематике и структуре первые три статьи начинаются с палеографического описания памятников. Наиболее исчерпывающий палеографический анализ памятника дан в статье Л. П. Жуковской. Поскольку исследуемый Л. П. Жуковской памятник датирован и место написания его известно, целью палеографического его описания было, по словам автора, «проверить свидетельство записи о времени и месте написания рукописи», «возможно более точно установить границы работы отдельных писцов» и «выявить черты, свойственные всем писцам данного списка, для определения в будущем особенностей палеографии и графики рукописей середины XIV в., написанных на территории, примыкающей к Галичу» (стр. 10). Все поставленные автором задачи успешно выполнены. Л. П. Жуковская с большим мастерством и знанием дела исследовала

разлиповку памятника, способ нумерации тетрадей, употребление киновари в заголовках, инициалы, миниатюры, форму букв, почерк писцов. На основании всестороннего анализа Л. П. Жуковская убедительно показала, что рукопись была написана четырьмя писцами (до сих пор было лишь известно, что рукопись является делом разных рук). В конце описания дана сводка «некоторых графических норм писцов Галичского евангелия 1357 г.». Палеографическое описание Л. П. Жуковской является не только ценным вкладом в разработку русской палеографии XIV в., но по способу подачи материала может служить методическим руководством для других подобного рода работ. Описания рукописей, данные в двух других статьях, тоже вносят много ценного в изучение графической системы и норм орфографии XIV в., хотя в смысле полноты и методичности уступают описанию Л. П. Жуковской.

Во второй части каждой из первых трех статей дается фонетическое исследование памятников. И формулировка научных задач, стоящих перед исследователями, и метод самого исследования у различных авторов различны. Как явствует из заголовка, Л. П. Жуковская ставит своей целью восстановить фонетику галичского говора на основании Галичского евангелия 1357 г. В двух других статьях, на первый взгляд, преследуются более скромные цели: палеографическое и фонетическое описание рукописи Московского евангелия 1358 г. (О. А. Князевская); анализ написаний памятника с точки зрения отражения в них произносительных особенностей писцов с целью «сообщить материалы еще совершенно не изученного, но безусловно интересного памятника древней письменности» (Т. Н. Кандаурова, стр. 179). Однако в другом месте О. А. Князевская формулирует задачу своего исследования как попытку «представить фонетическую систему московского говора середины XIV в.» (стр. 109), а в «Заключении» говорит о воссоздании по материалам памятника живой речи Москвы середины XIV в. Также и Т. Н. Кандаурова на стр. 281 пишет: «На основании написаний памятника... мы можем сделать заключение не только о фонетической системе, характерной для данного писца, но и распространять свое заключение на характеристику фонетической системы одного из древнепсковских говоров в целом».

Статьи Л. П. Жуковской и О. А. Князевской основаны на материалах церковно-канонических памятников, статья Т. Н. Кандауровой — на материале памятника церковно-учительной литературы, однако списка с более раннего оригинала. Возникает вопрос, правомерно ли на основании памятников, написанных церковнославянским, т. е. «русифицированным старославянским» языком, ставить перед собой задачу восстановления фонетической системы великорусских говоров XIV в. и вообще возможно ли такое восстановление? Мы сомневаемся в этом. Неверно, что язык церковноканонических памятников XIV в.

«испытал известное влияние старославянской письменной традиции» (О. А. Князевская, стр. 109). Наоборот, будучи старославянским (древнеболгарским), он подвергался влиянию произносительных особенностей, определяющихся диалектной принадлежностью писца. Поэтому трудно говорить об отражении диалекта середины XIV в. в описываемом памятнике (О. А. Князевская, стр. 176) и можно только говорить об отражении в памятнике произносительных особенностей писцов (Т. Н. Кандаурова).

Фонетический анализ памятников во всех трех статьях проведен с большой тщательностью и научной добросовестностью. Авторы хорошо знакомы с литературой предмета и с данными других памятников и современных говоров, с которыми сопоставляются черты исследуемого памятника. Однако иногда создается впечатление, что черты памятника истолковываются автором так, чтобы подтвердились заключения, сделанные раньше на основе диалектных данных. Это главным образом относится к статье Л. П. Жуковской. Например, различение букв *ѣ*, *е*, и в соответствии с этимологией в памятнике, являющемся списком более раннего текста, едва ли можно считать достаточным доказательством существования в галичском говоре середины XIV в. особого звука, обозначаемого буквой *ѣ* (стр. 60). Заключение сделано, очевидно, на основании данных современного костромского диалекта. Заключение о наличии [ѣ], так же как и взрывного [ѣ], в говоре писцов Галичского евангелия сделано всецело на основании диалектных данных. Так же утверждение о переходе [ѣ] > [о] перед твердым согласным базируется не на данных памятника. Интерпретация автором единичных случаев в памятнике неодинакова. Так, с одной стороны, Л. П. Жуковская считает, что написания с *о* вместо *е* после шипящих перед твердыми согласными «дают основание полагать, что... уже совершился процесс изменения [ѣ] в [о] в положении под ударением перед твердыми согласными» (стр. 66). На основании трех отклонений от этимологического написания (*сѣмиромъ*, *дыбѣ*, *жатыбѣ*) делается заключение о смягчении этимологических твердых зубных в положении перед мягкими, хотя переход *ѣ* > *ь* перед мягким согласным — явление обычное в церковнославянском языке¹. С другой стороны, в п. 2 второй главы «Этимологическое *ѣ* и буква *ѣ*» и в п. 8 «Безударные гласные верхнего подъема после мягких согласных» единичные случаи смещения *ѣ* с *е*, и или мены букв *е*, и в заударном слове не принимаются во внимание. Встречаются в статье и мало обоснованные заключения (п. 4 третьей главы «Долгие шипящие») и даже заключения, сделанные, сказали бы мы, вопреки свидетельству приведенных фактов: материал статьи говорит в пользу гипотезы А. М. Селищева о более позднем переходе

¹ Ср. А. Вайан, Руководство по старославянскому языку, М., 1952, стр. 65.

зу в *xi*. Против утверждения автора об отвердении смягченных зубных перед твердыми зубными говорит приведенный материал. Если допустить, что спорадическое написание буквы *c* вместо этимологического *a* было следствием иноязычного происхождения IV писца (стр. 97), то, принимая во внимание, что ему принадлежит вся вторая часть рукописи (листы 116—177), 1) остается непонятным, почему только в этом пункте проявилось его иноязычное происхождение; 2) все предыдущие заключения, сделанные относительно фонетики галицкого говора середины XIV в. на основе материалов IV писца, надо признать лишенными убедительности; 3) нельзя утверждать, что «говор писцов был единым» («Заключение», стр. 102). Приведенные примеры можно объяснить явлением гиперизма, вызванным стремлением противостоять тенденции позиционного озвончения согласных.

В статье О. А. Князевской несколько менее чувствуется тенденция прочесть в памятнике то, что наличествует в современном говоре. Но и тут заметно порой стремление анализировать правописание памятника и делать соответствующие выводы в направлении сближения языка памятника с современным диалектом: на основании одного случая написания *жоне* при постоянном *женѣ* и т. п. делается вывод, что «обе буквы обозначают в этих условиях один звук — [o]» (стр. 150). Возможность описок или влияния орфографии оригинала не всегда принимается во внимание. И, наоборот, этимологически правильное употребление писцом, «твердо знающим орфографические нормы» (как неоднократно подчеркивается), например, буквы *ѣ* в безударном положении перед твердым согласным (стр. 160) или правильность употребления парных звонких и глухих на конце слова (стр. 174) рассматривается уже как отражение особенностей живой речи. Некоторые заключения, как и в первой статье, сделаны всецело на основании современных диалектных данных (например, о наличии взрыва при произношении долгих шипящих, стр. 168). Сравнительно редки случаи, когда автор затрудняется сделать выводы (стр. 171), а таких случаев, как нам кажется, представляется больше: вопрос мягкости или твердости шипящих (стр. 168—170), звонкость или глухость звонких согласных перед следующим глухим согласным и на конце слова (стр. 173—174).

О. А. Князевская, видимо, безоговорочно принимает теорию Л. Васильева о влиянии нейотированных гласных на предыдущий *-ѣ* предлогов в галицко-волыньских памятниках XIV в. (стр. 135), который будто бы в положении перед *a-, o-, y-, u-* следующего слова переходит в *-o* с одновременной утратой названного гласным слогового качества. Между тем факт ограничения этого явления почти исключительно церковными памятниками свидетельствует о его книжном характере. В галицко-волыньских грамотах XIV в. нам встретился только один пример этого рода:

ото избыщного перевоза¹, в котором трудно представить себе потерю слогового качества начальным *и-* (даже если считать его в безударном положении) и возникновение группы согласных *-иаб*. В галицко-волыньских грамотах XV в. мы встретили всего 4 аналогичных примера, наряду с которыми, как правило, выступают предлоги на *-ѣ, -ь* или на согласный. Употребление предлогов на *-o* перед нейотированными гласными следующего слова отражает церковно-книжное, более старательное произношение (процесс писания слов, надо полагать, сопровождался мысленным, а может быть, действительным их произношением) и вызвано стремлением писца сохранить слогоделение, не допустить слияния предлога со следующим словом.

Статья Т. Н. Кандауровой, наиболее критичная в отношении исследуемого материала и наименее категоричная в формулировке выводов, в части, посвященной исследованию фонетики памятника, заслуживает, на наш взгляд, особого внимания. Там, где Л. П. Жуковская начинает свое заключение относительно качества согласного *a* (засвидетельствованного в обоих памятниках сходным материалом) словами: «не остается сомнения...» (стр. 75), Т. Н. Кандаурова пишет: «можно полагать»; «впрочем, не исключена возможность» (стр. 274). Не находя очевидного подтверждения наличия в памятнике твердого *p*, автор оговаривает свою точку зрения: «мы все же считаем...» и т. п. Поэтому несколько удивляет приведенное нами заключение автора о возможности на основании памятника восстановить фонетическую систему древнерусского говора. Т. Н. Кандаурова в ряде случаев предлагает новые и убедительные объяснения фактов [неразличение конечных [a], [e] в связи с характером произношения шипящих, возникшее до появления аканья (стр. 241—242); написание *про-* вместо *прѣ-(е)* как следствие твердости произношения [p] (стр. 267)], иногда противопоставляет свою точку зрения принятому толкованию [написание *и* вместо *e, ѣ* — не севернорусская черта (Шахматов), а явление безударного слога (стр. 249)]. Очень интересна и убедительно аргументирована мысль о перенесении аканья в Псковщину беженцами из южной части Тверской земли. Некоторые выводы статьи, однако, кажутся нам не вполне убедительными: утверждение о различии ударяемых [ѣ], [e] в произношении второго писца, несмотря на написание *e* вместо *ѣ* в слоге под ударением, только на основании отсутствия обратной замены (стр. 215). Засвидетельствованный у второго писца переход *кы, гы, хы > жи, ги, хи* и последовательное употребление первым писцом (писцом той же эпохи и близкого говора) *кы, гы, хы* скорее заставляют видеть в последнем случае отражение не произношения, а орфографической тра-

¹ В. Розов, Українські грамоти, т. I, XIV в. і перша половина XV в., Київ, 1928, стр. 4.

диции (стр. 272). Примеры смешения *ы—и* (стр. 255) вероятнее всего считать украинской чертой южнорусского оригинала Пролога. Такого же происхождения может быть и твердое конечное *-м* (стр. 269—270). В целом статья Т. Н. Капдауровой — ценное научное исследование с умелым анализом памятника и интересными обобщениями, с новым объяснением многих фактов.

Второй отдел «Трудов» открывает статья известного исследователя синтаксиса древнерусских грамот В. И. Борковского. Автор основывает свое исследование на материале грамот XI—XV вв., в том числе недавно открытых берестяных грамот и отдельных памятников XVI—начала XVII вв., причем в круг исследуемых памятников включает белорусские грамоты и украинские грамоты XIV в. Слишком широкое значение термина «древнерусский» встречается и в других статьях. Более того, в некоторых статьях (С. В. Бромлей, Н. С. Рыжков) прямо смешиваются понятия «древнерусский» и «русский». Так, С. В. Бромлей говорит то о «русском языке XI—XVII вв.» (стр. 351; получается, что можно говорить и об украинском, и о белорусском языке XI—XVII вв.?), то о «древнерусской письменности XI—XVII вв.» (стр. 355, сн. 9). Н. С. Рыжков к исследованию наречий в древнерусском языке привлекает и материал памятников XIV в., в том числе и древнеукраинских грамот, а для фактов древнерусского языка ищет аргументов исключительно в современном русском языке. Нельзя согласиться с отнесением к древнерусскому периоду памятников XIV в., характеризующихся появлением несомненных черт великорусского и украинского языков и развитием основных черт белорусского языка¹. Еще меньше можно говорить об отнесении к древнерусскому языку памятников XV, XVI и XVII вв.

Исследование В. И. Борковского, посвященное изучению одной из разновидностей сложного предложения в древнерусских грамотах — бессоюзному предложению, отличается глубиной анализа и методичностью изложения. Выводы, сделанные на основе материала грамот, сопоставляются с данными других древнерусских памятников, с фактами современного русского литературного языка и современных русских говоров. Ценные наблюдения, новые выводы, коррективы, вносимые в высказывания предшественников, обогащают наши познания в области древнерусского синтаксиса. На основе сопоставления с новгородскими берестяными грамотами, представляющими собой частные письма, В. И. Борковский приходит к вполне убедительному заключению, что «в устной речи, где большую роль играет интонация, уже в древ-

нейшую пору русского языка бессоюзные сложные предложения ...были широко распространены, значительно шире, чем в письменной речи» (стр. 296—297). Особенно редки в грамотах бессоюзные предложения со значением временной последовательности. Отмечая более частое употребление бессоюзных сложных предложений в художественных произведениях древней Руси, тесно связанных с устным творчеством, автор присоединяется к мнению исследователей, которые считают, что бессоюзные предложения употреблялись в них «с определенными стилистическими целями» усиления динамичности изложения (стр. 295). В основу классификации «бессоюзных сложных предложений, сопоставляемых со сложноподчиненными предложениями с союзами и относительными словами», автор положил синтаксическую функцию второй части бессоюзных сложных предложений и, надо сказать, сделал это с большим искусством, тем более что задача осложнялась наличием ценной структуры древнерусского сложного предложения, которая часто затемняет смысл и делает возможной различную интерпретацию предложения.

В некоторых случаях нам трудно присоединиться к мнению автора. Например, предложения типа *на семь гснє новгородъ вьсь. хрѣстъ целуетъ. княжение твоє чьстно дьржати. по пошлїне. безъ обиды* (стр. 299) В. И. Борковский относит к тем бессоюзным сложным предложениям, где вторая часть поясняет первую. По нашему мнению, здесь простое распространенное предложение. Мы не разделяем взгляда В. И. Борковского и на условные предложения с союзом *а* в протазисе. Автор относит их к бессоюзным предложениям на том основании, что «условность в предложениях с *а*, как и в предложениях без *а*, выражалась как порядком слов в обуславливающей части, так и ее местом (препозиция) по отношению к части обуславливаемой, а также соотносительным употреблением глагольных форм в обеих частях, в устной же речи — и интонацией. ...союз *а*...является начальным, отграничивающим бессоюзное сложное предложение от предыдущего предложения» (стр. 316). Исходя из такой точки зрения, и современные предложения типа *если хочешь, поведем* можно отнести к бессоюзным предложениям. Тем более, думается, нельзя считать бессоюзными предложения с союзом *а* и относительными словами в протазисе типа *а кто, а где*, являющимися в сущности союзными словами. Не очень убедительны аргументы, на основании которых автор статьи сходные синтаксические конструкции склонен считать в одном случае бессоюзными сложными предложениями с определенительным значением во второй части (типа *Се купи игумень василєи. у матуфєи. у назарова сна и у єго брата. у самуїли. на маломъ островє. орамоу земли. гоны. с верхнего конца межа от еремєевы земли. а с нижнего конца. до василєевы земли. а сторону межа до ивановы пожни* (стр. 337), в другом же — бессоюзными слож-

¹ Ср. хотя бы три первые статьи в рецензируемом томе, а также: Л. А. Булаховский, Питание походжения украинської мови, Київ, 1956, стр. 37; Е. Ф. Карский, Новый журнал по славянской филологии, ИОРЯС, т. XXIX (1924), 1925, стр. 411.

ными предложениями с присоединительным значением во второй части (типа *и еще есть даль земля полосу на имя соекеру а межю по старым межам* (стр. 340)). И первый, и второй типы предложений содержат апологичную стереотипную формулировку, и если не считать ее самостоятельным предложением, такие предложения можно скорее рассматривать как «бессюзные сложные предложения с добавочным замечанием или пояснением во второй части», по терминологии академической «Грамматики русского языка» (т. II, ч. 2-я, стр. 402). То же можно сказать о примерах на страницах 341—342. Наконец, хотелось бы, чтобы в статье были более подчеркнуты изменения, которые произошли в анализируемых предложениях на протяжении XI—XVII вв. Затрудняет чтение статей рецензируемого тома «Трудов» то, что не выделены другим шрифтом цитаты.

С. В. Бромлей в названной выше статье занимается вопросом способа образования форм сравнительной степени, судя по привлеченным к исследованию памятникам, в древнерусском и в древневеликорусском языках. Исходя из наличия в древнерусском языке двух типов образования форм сравнительной степени при помощи суффиксов *-e||-iv* и *-e||e||-e||v*, автор пытается установить нормы распределения основ между двумя типами образования. Учитывая, что действовавшие в праславянском языке факторы, связанные с интонацией гласного корня, утратили свою силу в начале древнерусской эпохи, автор ищет на материале древнерусского языка новых критериев распределения типов образования форм сравнительной степени и приходит к заключению, что в древнерусский период типы образования форм сравнительной степени обуславливались качеством конечного согласного основы. Однако уже в древнейших памятниках прослеживается взаимовлияние обоих типов образования форм сравнительной степени. Автор устанавливает два вида этого взаимодействия: более древний, когда одна и та же основа могла оформляться по двум типам образования (*бораѣ||борже...*), и более поздний, когда вследствие морфологизации чередования согласных в образовании форм сравнительной степени «во взаимоотношения вступают не типы образования в целом, а отдельные морфемы с признаками того или иного типа образования» (стр. 461) (тип *хуже-хуже...*). Трудно отнести за счет польского влияния исконную древнерусскую форму сравнительной степени *лѣпше* (стр. 363, 410), сохранившуюся до настоящего времени в украинском (*ліпше*) и белорусском (*лепш*) языках. Едва ли следует считать формы *кратошій, коротошій* (стр. 405) суффиксальными образованиями. Скорее надо полагать, что *-о-* вместо *-ъ-* является здесь результатом смещения букв *ъ—о*, частым в памятниках XV в. (ср. *Иванко, Воитко* в галицкой грамоте 1418 г.). Возможно, что буква *-о-* в создании писца выполняла здесь роль слогаде-

лителя, предупреждающего слияние *т—ш*. Мало убедительно объяснение форм *старшій* и т. д., выступающих в одном и том же памятнике рядом с формами *старѣшему//старешы* (стр. 447), как форм с редуцированным звуком и с ударением на основе. Параллельное употребление тех же форм с *ѣ*, е заставляет скорее предположить здесь смещение *ѣ—и*, *ѣ—е* в подударном слоге, встречающиеся в великорусских памятниках XIV—XV вв.

Статья С. В. Бромлей в отношении богатства и способа подачи исследуемого материала, а также в отношении научных выводов — ценный вклад в разработку древнерусской и древневеликорусской морфологии. Однако эта работа значительно бы выиграла, если бы, в соответствии со столь дифференцированным во времени и в жанровом отношении материалом, который был положен в основу исследования (памятники древнерусские и древневеликорусские, церковно-канонические и светские), в ней были бы даны и более дифференцированные выводы. Неприятное впечатление производит небрежная подача примеров из польского и чешского языков [смещение и пропуск диакритических знаков, необозначение чешских долгих гласных (см. стр. 358, 359, 360, 366, 376, 378, 380, 385, 391)]. На стр. 433 под видом чешской приведена украинская форма.

В статье Н. С. Рыжкова рассматриваются наречия древнерусского языка, образованные путем адвербиализации беспредложных и предложных форм родительного и винительного падежей. И богатство приводимого автором материала, и вдумчивый его анализ, и научные выводы делают статью ценным вкладом в разработку морфологии древнерусского языка. Принимая во внимание большую продуктивность в древнерусском языке адвербиализации предложных конструкций, автор в статье больше места отводит именно этим образованиям, причем обращает внимание на неодинаковую степень их адвербиализации, на роль предлогов в семантическом оформлении наречия, дает классификацию предлогов по степени их способности входить в состав наречий.

Объясняя происхождение наречия *вчера* из формы родительного падежа единственного числа *вечера* перемещением ударения в слове, Н. С. Рыжков неверно аргументирует свое положение «естественной закономерностью русской адвербиализации» (стр. 474), упуская из виду, что образование наречия *вчера* — явление не русского и не древнерусского, а праславянского языка. В отношении наречия *дома* автор выдвигает компромиссную точку зрения, примиряющую теории аблативного и локативного его происхождения, и видит в нем продукт слияния обеих форм на *-о*, которые в праиндоевропейском «могли совпадать не только по форме, но и функционально» (стр. 476). Гипотеза Н. С. Рыжкова остается, конечно, только гипотезой. Отметим попутно, что не только в древнерусском и в древних славянских языках, но и в современном украинском

¹ В. Розов, указ. соч., стр. 89.

и польском языках одно и то же наречие употребляется как в значении «куда», так и в значении «где» (ср. укр. *де*, польск. *gdzie*). Нам кажется неубедительной точка зрения Н. С. Рыжкова, считающего сложные наречия *полоунощи*, *полоудыне* формами местного падежа. Восходя к формам родительного падежа в первой и второй частях, приведенные образования уже в старославянском языке могли выступать как сложные имена существительные, неделимые или делимые¹. Рассматривая предлоги по их способности входить в состав наречий, автору следовало обратить внимание на большую сопротивляемость двух- и трехсложных предлогов, носителей ударения, и подчеркнуть зависимость превращения односложных предлогов в компоненты наречий от степени деэтимологизации формы существительного, с которым сочетается предлог. В наречиях *близъ*(ь), *низь*, возникших в праславянскую эпоху, надо видеть образования не от существительных, а от соотносительных имен прилагательных, основ на *-i-*, распространенных впоследствии суффиксом *-ко*-².

Трудно согласиться с Н. С. Рыжковым, который видит в наречии *завѣтра* сочетание предлога *за* с формой винительного падежа существительного *оутро*. Удивляет аргументация, что «русскому языку не свойственно употребление форм родительного падежа имен существительных с предлогом *за*» (стр. 514). Автор упускает из виду, что древнерусский язык не является великорусским языком и что не все закономерности современного русского языка прослеживаются в древнерусском языке.

Отметим попутно, что сочетание предлога *за* с формой родительного падежа унаследовал от древнерусского языка украинский язык (*за дня, за часу, за держави* и т. д.). Несостоятельность предполагаемого автором перехода формы *заоутро* > *заоутра* под влиянием акающих говоров видна хотя бы из сопоставления с украинским *завтра*. Вообще при чтении некоторых статей создается впечатление, как будто авторы их забывают, что древнерусский язык являлся древневосточнославянским, а не древневеликорусским языком. Было бы полезно для убедительности выводов о древнерусском языке, если бы Н. С. Рыжков ограничился материалами XI—XIII вв. Материалы XIV в., периода дифференциации древнерусского языка, могут только затенить факты древнерусского языка. Так, например, на стр. 486, 512—513 автор приводит только из украинских грамот XIV в. слитные написания наречий *досыть*, *поперекъ*, свидетельствующие о полной адвербиализации предложных падежных форм и о деэтимологизации древнерусского существительного *сыть*.

Из «Предисловия» к VIII тому «Трудов Института языкознания» мы узнаем, что все статьи, за исключением работы В. И. Борковского, «принадлежат молодым авторам и представляют собой обработанные кандидатские диссертации или главы из них». Можно с уверенностью сказать, что в лице их авторов советское языкознание обогатилось талантливыми и серьезными исследователями в области древнерусского и русского языков.

Л. Л. Гумецкая

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ «ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ» В «СЛОВАРЕ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА»

В апреле 1956 г. в Ленинграде состоялось заседание Ученого совета Института языкознания с участием сотрудников Словарного сектора, посвященное обсуждению вопроса о состоянии работы над четырнадцатитомным «Словарем современного русского литературного языка». Академик В. В. Виноградов, говоря о недостатках опубликованных томов, между прочим отметил, что «иногда искажается историческая перспектива»³. Доктор филол. наук Е. А. Бокарев также говорил в своем до-

кладе о том, что «имеются случаи нарушения и даже искажения исторической перспективы при разработке отдельных слов»⁴. В дискуссии В. И. Борковский особо высказался за усиление элементов историзма в словаре. Это подчеркнул и Б. В. Томашевский, сказав, что «нет необходимости составлять словарь в 14 томов, отражающий только современную норму»⁵; к его мнению присоединились многие сотрудники института. Однако многие языковеды отмечали также, что «нормативность и историзм — несовместимые требования»⁶. Так, по мнению заведующего Словарным сектором Ф. П. Филина, «расположение значений слов в хронологическом порядке — требование при современном состоянии исторической лексикологии невыполнимое, а расположение цитат в хронологическом порядке есть очень наивное понимание историзма»⁷.

¹ Например, *до полу дъне* (Fr. Miklosich, *Lexicon palaeoslovenico-graecolatinum*, Vindobonae, 1862, стр. 614).

² См. в том же томе «Трудов» стр. 456, а также: N. Troubetzkoy, *Les adjectifs slaves en -ъкъ*, BSLP, t. 24, fasc. 1 (№ 73), 1923, стр. 130—137; Fr. Miklosich, указ. соч., стр. 31 (*близъ* — adj. и *близъ* — adv.).

³ См. Е. А. Земская, О состоянии работы над четырнадцатитомным «Словарем современного русского литературного языка», ВЯ, 1956, № 5, стр. 95 и сл.

⁴ Там же, стр. 97.

⁵ Там же, стр. 99.

⁶ Там же, стр. 100.

⁷ Там же.